

9 $\frac{12}{857}$



В. ШПАНЕЦ

9 12
857

ЛОБНОЕ МЕСТО

ИЗД-ВО ПОЛИТКАТОРЖАН
МОСКВА

№ 11-12 1930



2020241074

912
857
В. ШПАНЕЦ

ЛОБНОЕ МЕСТО

ВОРОНЕЖСКИЙ ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ БАТАЛЬОН

Из архива авинера А. Урядова

С примечаниями А. Урядова

Под редакцией Н. Чужака

30-36630.



ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН и СС.-ПОСЕЛЕНЦЕВ

Москва — 1930

ТИПОГРАФИЯ
ГАЗЕТЫ

„ПРАВДА“
МОСКВА, 9,
ТВЕРСКАЯ, 48.

Гл. № А—65180.

Тир. 22.000 экз.

КНИГА ИМЕЕТ

Листов печатных	Выпуск	В перепл. един. соедин. №№ вып.	Таблиц	Карт	Иллюстр.	Служебн. №№	№№ списка и порядковый	1972 г.
4.							156	92

1029/17-75000

ПРЕДИСЛОВИЕ

Как попала ко мне эта рукопись и кто ее писал?

В 1906 году я сам находился в заключении в Бобруйском дисциплинарном батальоне. Пригнали к нам одного товарища из политических, бежавшего после восстания в Воронежском дисциплинарном батальоне и арестованного полицией нето в Ярославле, нето в Вологде, под фамилией Семена Чернухи. В августе того же года он счастливо убежал у нас с купанья. Перед уходом же на купанье он передал эту рукопись товарищу Сергиенко, казненному впоследствии в Бобруйской крепости — и тоже за восстание. На рукописи была подпись — Виктор Шпанец.

Эта рукопись хранилась после у меня, а потом я послал ее брату. С 1906 года по настоящее время она так истрепалась, что понадобилось сделать в ней кое-какие восстановления.

Что же касается самого Семена Чернухи, то больше о нем я ничего не слышал, и даже подлинная ли это его фамилия, — не знаю. Судя по описанию Виктора Шпанец, скорее всего эта фамилия не настоящая, точно так же, как и подпись «Виктор Шпанец».

Вот эта рукопись Виктора.

А. Урядов.

Как я попал в батальон

В конце февраля, в одно далеко не прекрасное утро, я еще лежал в постели и почти без мысли смотрел на решетку, при помощи которой, вот уже девятый месяц, в качестве политического преступника был отрезан от живого мира. Было уже восемь часов утра, а обитатели тюрьмы еще не вставали, и в коридоре было совсем тихо. Но вот послышалось звяканье шпор. К моим дверям поспешно приблизился жандарм и, отворив дверную форточку, сиповатым голосом говорит: «Шпанец, вставайте, вас в город берут! Скорей пожалуйста!» — добавил он, закрывая форточку.

Что бы это значило? — спрашивал я сам себя, одеваясь, и никак не мог придумать, зачем меня берут в город. Дело в том, что еще за три месяца до этого следствие по моему делу (я обвинялся в провозке запрещенных книжек из-за границы) было закончено и передано прокурору военно-окружного суда в

Одессе, так что допроса уже быть не могло. Быть может, отправляют в Одессу на суд? Но и это предположение приходилось отвергнуть, так как, во-первых, если отправляют куда-либо этапом, то накануне предупреждают об этом, а во-вторых, я еще не получил обвинительного акта.

Оставалось только остановиться на такой догадке, что дело мое, за недостатком данных, прокурором прекращено и меня передадут воинскому начальнику, который отправит меня в какую-нибудь часть. Дело в том, что я уже был принят на службу и третий год считался солдатом, хотя на самом деле не был таковым и одного часа, не принял даже и присяги, которая дается по окончании приема.

Попрощавшись на всякий случай с товарищами, я, в сопровождении жандарма, отправился в контору, где меня уже ожидал конвой. Оказалось, что меня ведут в какой-то полковой суд. Зачем именно, тюремная администрация мне объяснить не могла, но я и без того догадывался, что меня будут судить за неявку на службу и — много-много, если приговорят к 15-ти дням карцера, ибо я знал не мало случаев, когда за такой проступок даже

совсем не судили, а просто отправляли в полк. Выходило так, что суд этот будет простой формальностью, и оставалось только радоваться предстоящей прогулке.

Идти пришлось не далеко, так как здание полковой канцелярии, где заседал суд, находилось приблизительно в версте (немножко больше километра) от тюрьмы, и, несмотря на то, что погода была какая-то мозглая, что холод проникал до самых костей, я страшно жалел, что путь уже пройден, когда мы остановились возле большого трехэтажного здания. За восемь месяцев сидения я первый раз шел пешком по улице, видел кипучую жизнь, вольных людей. Некоторые из них сочувственно кивали мне головой и спрашивали мою фамилию.

Конвойные попались мне ребята довольно хорошие: всю дорогу они меня расспрашивали о разных событиях, и их симпатии, видимо, были на стороне народа. Особенно много говорили о войне. Этот разговор продолжался и тогда, когда я уже сидел в передней в ожидании вызова в зал суда. Здесь к нашей беседе присоединилось еще несколько солдат, назначенных в канцелярию вестовыми. Эти солдатики, с молодыми, добродушными

лицами, все допытывались причины, почему нас так бьют японцы, и говорили, что раз на победу надежды никакой нет, да и самая война затеяна не для пользы народа, то ее нужно прикончить, потому что и так уж бездну народу уложили.

Но вот я слышу в соседней комнате вызывают мою фамилию, и какой-то грубый, будто чем-то недовольный голос кричит: «Веди!» Конвойные быстро срываются со своих мест, лица их застывают, становятся деревянными. «Пожалуйста!»—говорит мне один из них, и оба становятся по бокам. Вот мы проходим какой-то большой зал, набитый офицерами. А вот и самый зал суда — маленькая квадратная комната. Посредине стоит большой стол, занимающий собой почти всю комнату так, что обвиняемому приходится стоять возле самых дверей. За столом этим сидят три офицера, средний из них председатель.

Пока я рассматривал его фигуру, поразившую меня своей толщиной, он объявил заседание открытым и, прочитав мой обвинительный акт, предложил мне назвать свое звание. Я назвал себя; тогда он обратился ко мне с вопросом: признаю ли я себя виновным в том, что, будучи принят на службу, не явил-

ся на разбивку? Не признавая себя виновным, я подтвердил самые факты.

— А вы ничего не имеете спросить? — ленивым голосом обратился он к офицеру с черной бородой и строгим лицом, сидевшему по правую руку председателя.

— Н-е-т, — процедил тот, испытующе глядя на меня.

— В таком случае я объявляю следствие по делу законченным. Суд удаляется для совещания, — сказал председатель, поднявшись со своего места.

Конвойным был сделан знак, и меня опять вывели в ту переднюю, где я сидел раньше.

О приговоре я думал очень мало. Кстати же, и солдаты все в один голос уверяли, что мне ничего не будет, разве на хлеб и воду посадят на несколько дней, да и то едва ли, так как председатель этот (подполковник) человек-де очень мягкий и строго наказывать не станет. Но приговор, который мне был объявлен через несколько минут, убедил меня в обратном. Я был приговорен к 11½ годам дисциплинарного батальона! Приговор этот слишком уж не соответствовал содеянному проступку, и было ясно, что мне мстят за мои



политические убеждения. Но все-таки меня не так поразила жестокость приговора, как та легкость, с какою он был произнесен. Меня даже не потрудились спросить, какие причины побудили меня уклониться от военной службы.

— Здорово они вас! — проговорил один из конвойных, когда мы очутились опять на улице.

И после этих слов оба конвойных пошли молча, как бы подавленные той неумолимой силой, которая заставила их самих быть конвойными, а меня конвоируемым. Шли мы на этот раз очень быстро, и всякий раз, когда я наклонялся, чтобы поправить калошу, съезжавшую с моей ноги, конвойные быстро останавливались и как-то беспокойно на меня поглядывали.

Очутившись в своей одиночке, я вспомнил, что мне дано только 24 часа для обжалования приговора, и обратился к тюремной администрации с требованием вызвать ко мне адвоката (защитника), но получил отказ, мотивированный тем, что это не дело тюремной администрации и она даже не имеет права на такой вызов. Итак, срок обжалования был

пропущен, оставалось только надеяться на то, что предстоящий суд по политическому делу окончится для меня «лишением прав» и таким образом я буду избавлен от того дикого рабства, которое у нас называлось солдатчиной. Увы, и эти мои надежды не оправдались!

Мы подвигаемся

Седьмой день голодала вся тюрьма, решив умереть голодной смертью или же добиться таких условий, при которых окажется возможным существовать. Июньская жара была невыносима и сильно осложняла положение голодающих. Многие уже не вставали с постелей, но некоторые были еще в состоянии выходить на прогулку, и я был среди них, когда во двор явился помощник начальника тюрьмы и объявил мне, что политическое дело мое прекращено по манифесту 11 августа 1904 года и что отправка моя в дисциплинарный батальон по военному делу состоится через несколько дней.

Были у нас в тюрьме бывшие солдаты, были и офицеры, но никто из них не мог дать мне ясного понятия о том, что такое дисциплинарный батальон. Так прошло две недели,

и в начале июля, когда здоровье мое еще не вполне восстановилось после недавней голодовки, меня наконец отправили этапом. Был июль 1905 года.

До Курска наш этап был смешанным, в Курске же солдат, идущих в батальон, от «вольных» отделили. Всего с теми, что были к нам присоединены в Курске, нас набралось 26 человек. Всех нас посадили в вагон третьего класса, где предстояло прождать целые сутки до отхода поезда. Народ был самый разношерстный. Были здесь драгуны, пехотинцы, рослые гвардейцы, писаря, казаки, саперы, пограничники, артиллеристы, — одним словом, чуть ли не все роды оружия заключались в нашем этапе. Так же разнообразен был этап и по возрасту: были в нем юноши 21 — 22 лет, были и 40-летние бородачи. Во время войны в дисциплинарные батальоны попало очень много запасных. Взятые от сохи опять в строй, они уже не могли слепо подчиняться военной дисциплине и в своем начальстве видели не «отцов родных», а врагов, с которыми не раз уже за последние годы успели столкнуться в своей борьбе за землю. Наконец, и в смысле происхождения состав этапа был крайне разнообразен, так как в нем были

представители различных народностей, населяющих нашу матушку Россию.

Было, однако, между нами и много общего. На всех нас было до последней степени изношенное и отрепанное платье, все мы были измучены долгим тюремным заключением, и у всех в душе таилось жестокое озлобление против тех, кто довел нас до такого положения.

Быстро перезнакомившись друг с другом, мы стали делиться мыслями относительно того, что нас ждет на месте. Одни рисовали жизнь в батальоне мрачными красками и говорили, что оттуда едва ли удастся вернуться, так как там-де на смерть запарывают розгами. Другие же уверяли, что телесного наказания в дисциплинарных батальонах давно не существует, что жизнь в них в общем идет почти так же, как в любом полку, и вся разница заключается в том, что никуда не выпускают. Но таких доверчивых было не много, а между тем слова первых подтверждались и случайными встречами по дороге.

— Эй, земляк, с какого света пришел? — спрашивал как-то, высунувшись в окно, один из наших, запасный солдат, кого-то под окном вагона.

— Из батальона дисциплинарного по чистой отставке домой иду, — едва слышно отвечал чей-то слабый голос под окном.

Мы все бросились к окнам и в ужасе чуть не отпрянули назад. Перед нами стоял не человек, а тень: высокого роста, он был тонок, как копеечная свеча, и цвет лица у него был совсем восковой. Сильно сутуловатый, с ввалившейся грудью, он как будто нарочно втянул полову в плечи. Потухающие глаза его чуть-чуть светились из-под огромного козырька солдатской фуражки с белым околышем, а измятое платье болталось на нем, как на вешалке. Но как ни жалка была его фигура, как ни ужасен был его вид, все же на лице его заметна была счастливая улыбка. Бедняга был рад своему освобождению и, повидимому, совсем не сознавал, как близка та «чистая отставка», которая освободит его не только от дисциплинарного батальона, но и от вольной жизни.

Неужели и со мной будет то же самое? — думал всякий из нас про себя, а в глубине души уже зрел ответ: «Нет, не бывать этому, не те времена теперь».

— А розгами порют там? — спрашивали из вагона у освобожденного по чистой отставке.

— Порют,—отвечал тот, сделав какой-то безнадежный жест своей длинной и исхудалой рукой.

«Ну, не пори, сам на штык напорешься!»— слышались в вагоне угрожающие возгласы.

«Добро пожаловать!»

Близились полночь, когда мы, утомленные дорогой и мокрые от быстрой ходьбы, молча приближались к месту своего назначения. Как хищный зверь, смотрели на нас каменные здания тюрьмы освещенными изнутри окнами с толстыми решетками. Вдоль мрачного забора медленно двигалась тень часового. Мне начало уже казаться, что меня душил кошмар, и, когда раскрылась страшная пасть тюрьмы, мне захотелось громко крикнуть: «А не пойду!» — и явилось непобедимое желание бежать, уйти как можно дальше от этого страшного чудовища, пугавшего меня не столько своим видом, сколько тем, что я ожидал там найти. Но окружающий нас конвой и сознание своего бессилия заставили меня вместе с другими войти во двор. В голове царил какой-то хаос. Сердце точно перестало биться, и, когда за нами закрылись

ворота, мне казалось, что со мной произошло что-то ужасное, что-то непоправимое.

— Сколько человек? — спросил у старшего конвоира дежурный офицер, когда мы уже стояли во дворе.

— 26 человек, ваше благородие! — отчеканил тот и затем, понизив голос, спросил: — Куда прикажете?

— В кадровое, — бросил офицер и скрылся в темноте.

Кадровым помещением называлась казарма, где жили унтер-офицеры, исполнявшие роль стражи при заключенных в батальоне.

В данном случае это был просто манеж, где временно помещались кадровые, в виду производившегося в их казарме ремонта. В этот манеж нас и ввели. Началась «приемка».

«Терки», то-есть унтера, быстро вскочили со своих коек. В их заспанных лицах сквозило что-то хищное, беспощадное, и каждый из них считал священной обязанностью выругаться по нашему адресу, произнести какую-нибудь угрозу, в роде «из зада ноги выдергаю», с добавлением самой вонючей матерщины.

— Давай сюда розог! — кричал один из них. — Пороть всех сволочей, у кого найдутся запрятанные деньги!

— Ну, теперь вам, ребята, капут! — говорил другой, как-то особенно твердо произнося слова. — Сюда вас много приходит из разных мест, а уж отсюда всем дорога одна: кому на каторгу, кому на тот свет.

Истощив, наконец, все угрозы, приступили к обыску. Прежде всего, нам приказали снять сапоги, затем принялись осматривать вещи, и таким образом нам пришлось около часу босыми простоять на земляном полу. Обыск производился довольно тщательно, все искали, не пронес ли кто денег. Признаться, я почувствовал себя не совсем хорошо, когда один из обыскивавших обратился к другим с предложением обыскать меня «хорошенько», так как, по его словам, «у этого полетчика (то-есть приговоренного за побег) обязательно есть деньги». Деньги, действительно, у меня были, но я их так удачно зашил в свое нижнее белье, что догадливый унтер несколько раз проводил рукой по тому месту, где они лежали, но так и не открыл их.

После обыска, во время которого я с трудом сдерживал свое негодование, нас разделили на две группы и повели ночевать: одних во вторую роту, других в третью. Я попал в число последних и был этим очень доволен, так как среди них находился молодой солдат-кавказец, отправленный в дисциплинарный батальон на 21½ года за то, что в ответ на оскорбление дал своему фельдфебелю пощечину. Во время пути я успел с ним познакомиться, и нам очень хотелось попасть в одну роту.

В казарме, куда нас привели, была страшная духота. В воздухе, что называется, хоть топор вешай. И немудрено. В небольшой сравнительно казарме, с невысоким потолком, на деревянных «топчанах», образовавших сплошные нары, помещалось до полутора тысяч человек. Вдобавок, все окна были с двойными рамами, и только два из них имели небольшие форточки. В страшной тесноте спали здесь люди на грязных мешках, набитых соломой, и на таких же подушках, без простынь и одеял, в одном нижнем белье, причем многие, за неимением своего белья, были одеты в казенное, сшитое из мешкового холста.

После того как мы были приняты дежурным «теркой», подвергнувшим нас вторичному обыску, нас начали укладывать спать. Для этого пришлось разбудить целый ряд спавших, и, когда те сдвинулись настолько плотно, насколько это оказалось возможным, — для нас, 14-ти человек, освободилось 8 узких матрацов. С большим трудом мы улеглись на них. С дороги хотелось отдохнуть, но было так тесно и так душно, что не было возможности уснуть.

На утро в 5 часов я был разбужен каким-то диким сигналом. Это сигналист играл во дворе «подъем». Едва прозвучала первая нота сигнала, дежурный терка уже носился по казармам и неистово вопил: «Вставай, вставай!» — перемешивая эти слова с целым потоком отборной ругани. Быстро, как на пожар, как спасающиеся матросы во время крушения корабля, одевались заключенные. А тем временем дверь казармы, закрываемая вечером на замок, уже открылась, и раздалась команда: «Выходи умываться». Подгоняемые все тем же теркой, заключенные поспешно стали выходить на двор. Оказалось, что здесь, куда бы солдаты ни шли, хотя бы приходилось сделать всего десять шагов,

все равно они должны сначала построиться, а потом уже «в порядке» итти.

Вместо умывальников, в противоположном конце двора стояло несколько деревянных жолобов, из коих обыкновенно поят лошадей. В них были вделаны краны, а так как крышек на жолобах не было, то вода в них была очень грязная.

Здесь, во время первого же умывания, у меня произошла довольно оригинальная встреча. В той тюрьме, где я раньше сидел, сторожевую службу несли жандармы, находившиеся на действительной службе по призыву, а не по найму. Один из них, парень с душой далеко не жандармской, попал за оскорбление офицера вот в этот же дисциплинарный батальон, куда теперь прислали и меня. Столкнувшись у умывальника, мы пожали друг другу руки и наскоро перекинулись словами. Хотелось бы поговорить подольше, но нужно было возвращаться в строй.

Вернувшись с умыванья, солдаты принялись за чистку сапог и ремней, за починку платья. Все делалось быстро, и уже в 6 часов новый сигнал призывал на поверку, которая летом делалась во дворе. После поверки все

шли пить чай, то-есть все те, у кого таковой имелся. Нам же велели забрать свои вещи и повели к батальонной канцелярии, где должна была произойти «разбивка по ротам».

Долго мы стояли у подъезда, пока пришел делопроизводитель и начал всех заносить в книгу. «Как фамилия? Откуда? За что? На сколько?» — закидывал он нас вопросами. Не обошлось без курьеза. «Ты за что?» обратился он к стройному брюнету, бывшему писарю воинского начальника. — «Делопроизводителя поколотил», — смело ответил солдат и вызывающе посмотрел на смущенного делопроизводителя, как бы говоря: «Могу и тебя, если придется».

Наконец, была сделана и разбивка. Я, солдат-кавказец и еще несколько человек остались в той же роте, где ночевали, остальные были распределены по другим ротам. По окончании разбивки нас повели к цейхгаузу, где на траве уже лежала целая груда изорванных шаровар и таких же фуражек, с черными околышами и огромными козырьками. Здесь пришлось снять с себя все, в чем пришли, и надеть «батальонное». Фельдфебель, выдававший эту «обмундировку», был неподражаем. С злобной улыбкой на лице, он

двумя пальцами подавал штаны и, когда кто-нибудь с недовольной гримасой начинал их рассматривать, он, под предлогом переменить на «хорюшие», давал такую рвань, что наделяемый ею несчастный недоумевал, как удастся ее починить.

Весь этот день прошел в том, что нас разбивали, переодевали, стригли, водили в лазарет на медицинский осмотр и так далее. К вечеру мы были уже вполне исправными «шпанцами» (так называют заключенных в дисциплинарных батальонах), и с этого момента началась наша батальонная жизнь.

Дисциплинарный батальон

Одно уже название того учреждения, о котором идет речь, заставляет думать, что там должен быть строгий режим. Но ближайшее знакомство с ним превосходит всякие ожидания. Представьте себе сырую, грязную тюрьму, лишенную самых простейших удобств, которыми пользуется любой арестант в самой скверной уездной тюрьме. Прибавьте к этому военную дисциплину, со всем ее произволом, жестокостью и насилием. Вспомните, наконец, розгу, и — вы по-

лучите близкое к действительности понятие о том, что такое дисциплинарный батальон.

Он состоит из пяти рот, и из них только первая и пятая отличаются от остальных. Первая отличается тем, что она получает погонны и ходит в караул, то-есть вообще пользуется некоторым маленьким доверием. Однако, правом выхода и эта рота не пользуется. Пятая же рота отличается тем, что в нее назначают по офицерским делам (за оскорбление или неисполнение приказания офицера). Режим в ней такой же, как в остальных трех ротах, то-есть гнусный.

Солдатский день начинался с пяти часов утра, продолжался до восьми вечера и почти весь чем-нибудь был занят. Кроме занятий (ружейное, приемы, маршировка, гимнастика, словесность, грамота и другие), одних проверок в батальоне было летом 2—3, а зимой 3—4 в день, и нередко на них приходилось стоять не менее часу, в лучшем случае полчаса. Сверх этого, имелась еще масса разных работ: пилить дрова, вывозить всякий мусор, помой, привозить песок и так далее. Лошадей для этого нет, и в телегу впрягают самих солдат. Несмотря на то, что эти работы производятся под наблюдением терок, все же

на них из опасения «полета», то-есть побега, не посылают пришедших за побег. Но это не избавляет последних от работы. Для «полетчиков» попечительное начальство устроило «разлуку», — так называли заключенные водокачку, где нужно руками приводить в движение колесо. Для этого приходилось сильно напрягать свои мускулы, и так как эта работа продолжалась нередко с 5 часов утра до 12 часов ночи и позднее (когда мылось начальство с семьями), то очень часто после нее приходилось идти в лазарет.

По поводу же пищи сам временно командовавший батальоном, подполковник Александровский, однажды сказал: «Досыта не накормлю и голодом не уморю». Это «не уморю голодом» он понимал в буквальном смысле. Медленно же он очень даже морил голодом, и я с уверенностью могу сказать, что труд его принес не мало плодов. По средам и пятницам на обед варили знаменитый суп с селедками, в котором селедок-то, собственно говоря, никогда не было. Лили туда лишь ржавый селедочный рассол, а так как есть приходилось из ржавых баков, то получалась настоящая отравка. В остальные дни кормили какой-то бурдой, сваренной из травы. На вто-

рое всегда давалась гречневая каша, которая часто была тухлая и почти всегда с песком; иногда последнего было так много, что приходилось говорить уже не «каша с песком», а «песок с кашей».

Хлеб был тоже негоден для употребления. Недопеченный, всегда рыхлый, перемешанный с мякиной, он царапал горло и вызывал сильную изжогу.

На собственные деньги можно было покупать только чай и сахар, да иногда 2 фунта белого хлеба, но такая выписка делалась только раз в месяц, и то этим правом пользовались лишь осужденные полковым судом; те же, что имели несчастье судиться в окружном суде, подобным правом не пользовались, так как имевшиеся у них деньги шли на уплату «судебных издержек». Надо заметить, что и самый кипяток начали выдавать лишь после того, как заключенные стали болеть тифом и разными другими болезнями. Казенного чаю и сахару почти не выдавали (куска 2 сахару в месяц да одну заварку чаю), а между тем, каждой роте ежедневно недодавали пуд и даже полтора пуда хлеба, говоря, что за эти деньги будет куплен чай и сахар. Голодных солдат до изнеможения гоняли по

плацу; при собачьей пище заставляли исполнять работу лошадей, как животных держали в грязи, всячески издевались над личностью и, в довершение всего, сажали, сажали и сажали под арест.

Сажали все, кто только считался каким-нибудь начальником. Простой унтер имел власть посадить на трое суток; «ротная шкура», то-есть фельдфебель, — на пять; и так далее. И действительно, охулки в этом они на свои руки не клали. 35 карцеров, имевшихся в батальоне, всегда были переполнены, и на них имелись постоянные кандидаты. Власть, согласно которой терка мог наказать трехдневным, а ротная шкура пятидневным карцером, на деле оказывалась безграничной.

Вот как определял это сам ротный шкура, Степан Новиков, обращаясь к провинившемуся солдату: «Знаешь ли ты (следует цинично-кудрявое ругательство), что я могу с тобой сделать? Ведь я тебя могу, сукина сына, посадить под арест на всю свою власть, на 40 суток!» И, если солдат решался возразить, что его власть не простирается больше пяти дней, он продолжал: «А знаешь, 8×5 (восемью пять) сколько? 8 раз по 5 посажу, вот 40 и выйдет». И он сажал, сажал не только

восемь раз по 5 дней, но сажал 10 раз, 20 раз по пять дней, и нелюбимых солдат большую часть времени заставлял проводить в камере.

О многом мне еще придется рассказать для того, чтобы дать полную картину того режима, которому подвергались заключенные в этом благодатном учреждении. Но смею думать, что и сказанного уже достаточно для того, чтобы представить себе, как подобные порядки должны были калечить, физически и нравственно, попавшего туда человека. Если бы вы спросили кого-нибудь из батальонного начальства, чего они достигают этими казнями египетскими, они непременно указали бы вам на то, что этими мерами отучают солдат от пьянства и курения табаку, приучают к дисциплине и уважению начальства, выучиванию строевой службы и, наконец, в течение 6 месяцев обучают грамоте. Посмотрим же, насколько это верно и какие плоды приносит подобное исправление.

Заключенный не имеет права курить, но разве хоть один из курящих подчиняется этому запрещению? Ничуть не бывало. Тем или иным путем табак добывается. Он обходится вдвое дороже, но есть в среде заклю-

ченных «осьмак». Это все. Чего-чего не делается ради этого «осьмака» махорки! Не имеющий денег крадет у своего товарища последнюю рубашку, последний кусок сахара и меняет на табак. Лежащий в лазарете больной продает булку, молоко, свою единственную пищу, выдаваемую ему на весь день, за этот жалкий «осьмак». Ради этого же «осьмака» солдаты делаются предателями друг друга и так далее. И всему этому нисколько не мешает то, что ежедневно кто-нибудь отправляется в карцер и даже под розги «за курение табаку».

Водка также проносилась, у кого имелись деньги на руках. Что касается уважения к начальству и к тем началам справедливости, которые оно насаждало, то об этом, я думаю, смешно говорить. О выучке строевой службе тоже говорить не приходится, так как, во-первых, в батальоне не учили стрелять (исключение составляла только первая рота), а во-вторых, всех солдат батальона учили пехотной службе, в то время как среди них находились чины всех родов оружия. Остается, следовательно, одно — «грамотность», но и это дело так было поставлено, что являлось настоящей пыткой для заключенных.

Так, например, старшим учителем (были и помощники) ротный командир назначает кого-нибудь из заключенных, и уж, конечно, не соображаясь с его педагогическими способностями. Ему приказывают «учить». «Не будут знать—пойдешь в карцер», говорит такому учителю преданное делу просвещения начальство. — «Я, ваше высокоблагородие, сам малограмотный», чистосердечно заявляет будущий учитель, желая таким образом отделаться от столь почетного звания, ибо знает, что, сделавшись учителем, он вместе со своими учениками вечно будет сидеть в карцере. Но это ему не помогает. Малограмотность в глазах начальства не является достаточной причиной для неназначения в учителя. Тогда бедняга ссылается на то, что нет книжек и что ученики не будут его слушаться, так как он сам такой же «шпанец», как и они. «Не будут слушать — доложи мне, буду сажать, как за унтер-офицера», отвечает на это командир и приказывает больше не рассуждать.

Сидеть за «грамотностью» заставляют всех в продолжение первых шести месяцев по несколько часов в день, при чем и грамотные и неграмотные должны писать сначала палочки, а затем буквы. Дальше этого дело не шло.

Телесное наказание

За тюремной стеной, в предместье города, есть огромное кладбище. Если вам придется когда-нибудь пройти мимо и ваш взор случайно остановится на его осиротелых могилах, знайте, что в них лежат кости запоротых насмерть солдат. Много их. Все они, изодранные в ключья безжалостной розгой озверевшего палача, в страшных муках испускали дух.

«Живодер был», говорили мне солдаты про начальника батальона Бурова, лишь в начале 1905 года ушедшего в отставку. За малейший проступок солдата подвергали телесному наказанию. Драли в одиночку и целыми десятками. Стоило, например, во время обеда кому-нибудь крикнуть «чего каша тухлая?», а товарищам не выдать крикнувшего, и тотчас же по приказанию Бурова начиналась экзекуция. Пороли «десятого». Нередко за какой-нибудь важный, с точки зрения начальства, проступок заключенному давали сто ударов розгами, а дня через два, когда истерзанное тело покрывалось струпиями и начинало гноиться, палачи снова повторяли свое мерзкое дело, нередко продолжавшееся до

тех пор, пока живой человек не превращался в изуродованный труп.

Но вот, как снег на голову, свалился манифест 11 августа 1904 года, и Буров, казалось, навсегда должен был расстаться со своей любимицей-розгой. Солдаты были уверены, что телесному наказанию пришел долгожданный конец, и были этому несказанно рады. Да только радость эта оказалась преждевременной, так как вскоре после манифеста появилось в газетах разъяснение правительства сената, в котором говорилось, что в военно-тюремных заведениях телесное наказание остается «в прежней силе». Буров снова получил возможность пороть, но только делать это уже было не так просто, как несколько месяцев тому назад, потому что солдаты, прочитавшие манифест, о разъяснении ничего не знали и знать не хотели.

А между тем, к этому времени как-раз одним из заключенных было совершено «очень важное» преступление. Заключалось оно, кажется, в том, что солдат, выведенный из себя оскорблениями офицера, в то время как тот его ругал, отвернулся от него и плюнул. За это солдата предали суду и, сверх того, по

заведенному обычаю, решили подвергнуть телесному наказанию. До манифеста это проделывалось в присутствии всех солдат, которые в это время должны были стоять «смирно» и смотреть на экзекуцию. Но так как теперь среди солдат царила уверенность, что наказывать розгами их больше не имеют права, то начальство для первого раза решило принять некоторые меры предосторожности. Впрочем, когда двери казармы были уже на замке, провинившегося солдата из карцера отвели прямо в манеж, и там усердными терками была произведена порка.

Начальство после этого ободрилось, и в короткое время несколько человек получили по «тридцатке». Большим числом ударов новый начальник не решался наказывать. Последнюю «тридцатку» получил заключенный третьей роты, наказанный за оскорбление терки. С июня 1905 года розга уже больше не применялась. Дело в том, что в это время уже серьезно поговаривали о мире (с японцами), и заключенные, среди которых добрая половина была запасных, были уверены, что по окончании войны запасных всех распустят, а остальным будет сокращен срок. Ожидание этого становилось все напряженнее, и

когда заключение мира сделалось фактом, а манифеста никакого не последовало, среди заключенных стало расти недовольство.

Само начальство видело, что драть розгами не безопасно, но так как отказаться от такой ценной меры для господ исправителей было слишком тяжело, то они решили испытать. Роль эту, как самый «умеренный», взял на себя капитан Давыдов. Придравшись к наказанному уже раз солдату за то, что тот, сидя в карцере до суда, отказался будто бы надеть новые сапоги, говоря, что в карцере ему и в старых хорошо, — он решил ему «всыпать тридцатку». Но Давыдов ошибся. Дело на этот раз не выгорело. Когда солдат был уже разложен перед выстроенной ротой и палачи взялись за розги, рота, вся бледная, дрожащая от возмущения, громко заявила, что пороть не даст, и экзекуция была отменена якобы «по просьбе роты». — «Если рота прощает», сказал Давыдов, выпутываясь из затруднительного положения: «то и я тоже готов простить».

Брожение растет

Солдат, не исполнивший приказания, солдат, ответивший на оскорбление оскорбле-

нием, солдат, верующий не так, как бы хотелось начальству, или просто не угодивший начальству, — вот те страшные преступники, для которых созданы дисциплинарные батальоны с их варварским режимом. Понятно, что никто из этих «преступников» себя таковым не признает, а считает себя «по-напрасно» страдающим. Убеждается юн в этом еще во время суда, где он лишен всякой защиты и где его обыкновенно судят те же офицеры, против которых он совершил свое преступление, или же их друзья.

Отсюда становится понятным и то огромное озлобление, которое буквально заливало весь батальон. В особенности считали себя напрасно страдающими запасные и те, кто давно отслужил срок, но не был уволен в запас по случаю военного времени. Надежды запасных на то, что по заключении мира их всех распустят, были обмануты, а между тем, несмотря на все строгости, несмотря на то, что в батальон никакой газеты, кроме поповского «Света», не допускали, мы, благодаря деньгам, что я пронес, начали тайком получать газету «Сын Отечества», которой пользовался чуть не весь батальон и которая, при всей ее умеренности, не одному из за-

ключенных открыла глаза на непонятные для него вопросы.

Говоря о режиме, я забыл упомянуть, что в программу занятий входил «закон божий» или просто «закон», как его называли в батальоне. Закон этот бывал раза два в неделю и почти всегда заменялся чтением «Шпанского Вестника» (так прозвали у нас казенный «Свет»). Читал обыкновенно кто-нибудь из заключенных, а вся рота слушала. Вот этим-то обстоятельством мы обыкновенно и пользовались, чтобы прочитать вместо «Света» свою газету. Чтения эти будили мысль, после них всегда начинались разговоры, и таким путем росло сознание.

Немалую, хотя и не умышленную, роль в пробуждении самосознания дисциплинарцев сыграл командующий войсками Московского военного округа генерал Малахов во время своего посещения батальона в сентябре 1905 года.

Я уже говорил, что большинство заключенных было уверено, будто розга применяется к ним незаконно, по произволу батальонного начальства; многие же из заключенных считали и все жестокости режима производом и думали, что если бы высшее начальство зна-

ло обо всем, что нам приходится выносить, то положение наше было бы улучшено. Один из сознательных солдат хотел даже во время посещения генерала заявить ему, что в батальоне порют розгами, и спросить, имеют ли начальники на это право, и лишь с трудом его удалось отговорить от этого бесполезного шага. На деле же, уже по приготовлению к смотру можно было заметить, что режим, которому мы подвергались, был почти целиком санкционирован (утвержден) высшими властями.

Так, например, постели наши попрежнему оставались без простынь и одеял; баки, из которых мы ели, были из ржавого железа, и их такими же оставили; попрежнему в телегу впрягали, вместо лошадей, солдат; занятий сделалось еще больше, чем было, пищи тоже несколько не изменили, и только одежда была выдана другая, но ведь это делается всегда перед всякими смотрами. Как и вообще перед всяким смотром, было страшно много всяких работ. Чистили помойные ямы, вывозили всякий мусор, привозили, скребли полы, перекладывали с места на место дрова, перетаскивали какие-то бревна, набивали

свои матрацы новой соломой и, наконец, до изнеможения, до тошноты возились с одеждой. К приезду генерала солдаты едва держались на ногах от усталости. Обед нам был выдан в этот день очень рано, и часа за два до приезда командующего мы, одетые в одежду первого срока, были построены в своей казарме. «Производить смотр поротно», — таково было желание самого генерала. Ноги сделались уже совсем деревянными, тело начало ныть, и казалось, что на голову надета толстая свинцовая оболочка, когда в коридоре слышался какой-то шорох, производивший впечатление, будто кого-то тащат по полу. Но вот ротный капитан Гулевич (в просторечии — «два аршина с шапкой») сделал знак, и слышалась его команда:

— Смирно, глаза направо!

Все замерли, обратив свои взоры на дверь, в которой появился со своей свитой генерал. Этот большой начальник был даже менее чем «два аршина с шапкой», старичок лет 80, седой, как лунь, с маленьким личиком карлика. Шел он медленно, едва передвигая ноги, но жалкая фигурка его, как будто недовольная своими ногами, вся устремлялась вперед.

Войдя в роту, его превосходительство еще несколько времени тащилось по фронту, заглядывая солдатам в лица воспаленными, горящими зловещим огоньком глазами, и затем только поздоровалось.

Пройдя до конца, он опять вернулся на средину и потребовал журнал взысканий. Все с замиранием сердца начали прислушиваться к тому, что он прочтет в этом журнале и что скажет, хотя, глядя на его фигуру, трудно уже было ожидать от него чего-нибудь хорошего. «Такой-то арестован мною на десять суток за то, что слабо затягивал пояс; такой-то арестован мною на восемь суток за то, что не вымыл шеи из-под топчана; такой-то за курение табаку, за леность по грамоте», и так далее читал командующий. «А это что?» обратился он вдруг к новому начальнику батальона подполковнику Александровскому и прочитал: «Такой-то арестован мною за шум во время купанья». Александровский, огромного роста детина, гроза всего батальона, струсил от окрика малютки-генерала и так растерялся, что не знал, что ответить. «В чем же выражался шум?» приставал карлик, но грозный начальник молчал, как школьник, не знающий своего урока, мол-

чал и как-то бессмысленно смотрел на генерала, а тот продолжал: «Что он, барахтался в воде, кричал?» — «Никак нет, ваше высокопревосходительство», нашелся наконец Александровский: «он ухватился за канат, которым огорожено место для купанья». «А это по уставу нельзя?» спросил командующий и, не ожидая ответа, попросил в другой раз «формулировать понятнее».

Слушая все это, мы с трудом удерживались от смеха, и в то же время нам было досадно, что командующий не обращает внимания на сажание солдат в карцер по пустякам, а просит только о том, чтобы понятнее записывали.

Но вот он стал читать дальше, и все наводрили уши. Он читал на этот раз о том, что один из нас был наказан розгами, и лицо его приняло какое-то доброе выражение. «А что, вы применяете телесное наказание?» мягко спросил он Александровского, и когда тот ответил, что применяет только в исключительных случаях, замолчал. Но для солдат уже было очевидно, что не у него нужно искать защиты и что не этот сморчок облегчит их участь.

Особенно это стало ясно после того, как он обратился к солдатам с речью, которая

состояла из каких-то нечленораздельных звуков и в которой только последние слова были сказаны связно и для всех понятно. Вот они, эти цинично-злые слова, которыми он закончил свою речь: «Казалось бы, что, попав сюда, вы должны бы быть тише воды, ниже травы, и этим перед государем императором загладить свою вину. Вы же, сук...» запнулся сморчок: «как я вижу из журнала взысканий, даже здесь продолжаете совершать свои преступления! Это вам непростительно»... Такой речью угостило начальство весь батальон, а зайдя в карцер и увидя там «тяжких преступников», оно окончательно расстроилось и, топая ногами, кричало, что надо пороть всех этих мерзавцев, которые пачкают собой всю армию!

Легко себе представить, как повлияло на нас это начальство, особенно после того, как в приказе по округу появилась благодарность командующего войсками всем офицерам и кадровым нижним чинам «за усердное исполнение ответственной службы» и, кроме этого, была еще выдана денежная награда! Все, что мы видели и слышали в этот день, разбило в нас всякую надежду на то, что о нас позаботятся, что в наше положение войдут и улучшат его.

А между тем, газеты делали свое дело: они приносили известия о забастовках, о предстоящей амнистии политическим, о созыве Государственной думы и тому подобное.

— Вот, — говорили солдаты, — кто бунтует, тому и облегчение всякое дается, а мы вот молчали, нам, значит, кроме карцера ничего нет.

Из этого получался вывод сам собой: надо бунтовать и нам! Эти слова стали повторяться все чаще и чаще в устах измученных и озлобленных солдат. Желание «бунтовать» стало возрастать особенно сильно перед всеобщей забастовкой, а когда прекратилось всякое железнодорожное движение, когда перестали получать даже «Шпанский Вестник», прекратилась получка солдатских писем и не приходил этап, — оно достигло своей вершины.

Начальство помогает

Начальство, казалось, шло навстречу этому желанию. Так, например, 12 октября, после занятий, почему-то не был выдан кипяток, а между тем он для большинства солдат заменял собою ужин, и в столовую обыкновенно шло человек 10-15 из роты. Оставшись на

этот раз без чаю, заключенные решили все пойти на ужин, зная, что на всех его не хватит и, таким образом, будет законный случай выразить свой протест. Ужина, действительно, не хватило. Поднялся страшный шум, и казалось, что вот-вот вспыхнет что-то ужасное, но явился Александровский, еще пока пользовавшийся репутацией «хорошего», кое-как уговорил солдат разойтись, обещая наказать виновника этого воровства и смотреть за тем, чтобы впредь такие вещи не повторялись.

На следующий день настроение у всех было приподнятое. Разнесся слух, что началось всероссийское восстание и что армия переходит на сторону народа. Все это сильно взвинчивало нервы, и, когда на обед была подана, по обыкновению, тухлая каша, все, как один человек, отказались ее есть, потребовав к себе начальника батальона. Он тотчас же пришел и, попробовав кашу, сказал, что некоторый процент тухлоты по уставу допускается, но это уже совсем чорт знает что. А затем приказал согреть кипяток и купить солдатам по булке «вместо каши».

Занятий в этот день почти не было; все выходили во двор и здесь обсуждали план

предполагаемого восстания. Он заключался приблизительно в том, чтобы воспользоваться каким-нибудь случаем разобрать винтовки, запастись патронами, которые, как нам известно было, хранились в одной из кладовых, и затем, выйдя из батальона и разбив казаков и полицию, вместе с народом овладеть городом.

Много об этом говорилось, но решения никакого еще принято не было. 13 октября вновь все пошли на ужин. На этот раз его уже было достаточно, но он почему-то отзывал керосином. Поднялся опять шум, но, как и 12-го, все обошлось благополучно, и дальше шума дело не пошло. Тем не менее, начальство заволновалось не на шутку, решило, что кто-нибудь мутит, и вечером во всех ротах был произведен обыск. Однако никакой крамолы найдено не было. На следующий день, кроме первой роты, опять на занятия никто не становился, и заключенные собирались во дворе целыми толпами, обсуждая все тот же вопрос.

Более горячие головы возмущались тем, что были пропущены такие удобные случаи, как те, что происходили два дня под ряд по поводу пищи, и говорили, что если сегодня

опять будет нехороший обед, то следует прямо начать. Им возражали, что нужно сначала сговориться между собой, выбрать свое собственное начальство, которое руководило бы всем делом, и постараться как-нибудь снестись с волей. Таким образом, дело затягивалось. Между тем, и этот день не прошел без скандалов. На обед были сварены хорошие щи и жирная каша, но когда две роты уже пообедали и в столовую пришла другая смена, в каше оказалась сваренная мышь. Возмущению солдат не было конца, и всем казалось, что надо начинать. Но этого не случилось, и на этот раз опять все окончилось шумом и булками. На занятия уже никто, кроме первой роты, не становился, и перетрусившее начальство не знало, что делать с недовольными солдатами.

Ужин в этот день был сносный, но и тут без скандала все-таки не обошлось, так как в одном из баков плавал окурок. Солдат пятой роты Серегин, который ел с товарищами из этого бака, понес его в офицерское собрание, чтобы показать дежурному офицеру плавающий в баке окурок, но был обвинен в том, что сам бросил туда этот окурок с целью возмутить батальон, и отправлен в кар-

цер. Сначала его хотели даже подвергнуть телесному наказанию, но, опасаясь волнения, на это не решились.

В пять часов, когда обыкновенно (по зимам) делалась поверка, казармы закрывались на замок, весь батальон находился на дворе и, несмотря на то, что барабанщик уже в третий раз выколачивал сбор и дежурный офицер просил разойтись, никто не двигался с места. Порешили на том, чтобы написать свои требования и на следующий день вооружиться винтовками, выйти на двор и предъявить начальнику наши требования. Предлагалось для исполнения этих требований дать ему несколько дней срока, все это время бастовать и, если по истечении срока требования не будут удовлетворены, начать восстание. Такой план был принят еще потому, что надеялись этим временем воспользоваться для того, чтобы узнать точнее, что делается на воле и готов ли присоединиться к нам местный гарнизон.

Приняв такое решение, собравшиеся начали петь песни. Десятки лет с тех пор, как существовали эти стены, они оглашались лишь криками на подчиненных и свистом розог, стонами истязуемых да пением молитв после

поверок. В этот же день стены впервые слышали живые песни живых людей.

Вечером в четвертой роте один из заключенных оскорбил терку; за это его хотели отправить в карцер, но рота не позволила. То же самое было и во второй роте, — там тоже солдаты не дали своего товарища. Положение становилось опасным, начальство на что-нибудь должно было решиться, и оно действительно решилось. 15-го утром в казармы явились ротные командиры и, как ни в чем не бывало, приказали выходить «на строевое». Все тотчас же начали разбирать винтовки, полагая, что если во время занятий что-нибудь случится, то будет удобно начать. Нас повели в манеж, там скомендовали ружья в козлы, а потом «направо шагом марш», и вывели из манежа. Как только последний солдат переступил порог, двери манежа заперлись на заранее приготовленные запоры, и к ним был приставлен караул из нескольких человек с винтовками. Нас обманули, нас провели, и мы, как маленькие дети, сами отдали свои ружья!

После неожиданного разоружения настроение большинства круто изменилось. Ниже опустились головы, и только небольшая часть

еще строила планы, как овладеть оружием. Дело в том, что против нас было человек 60 кадровых с хорошими револьверами и большим количеством патронов. Затем, как мы думали, против нас будет вся первая рота, которая в брожении никакого участия не принимала и обезоружена не была. В виду этого, предлагался, между прочим, такой план: в то время как первая рота придет обедать в столовую, ворваться в их помещение, забрать винтовки (штук 30), те немногие патроны, с которыми они ходят на караул, и, прогнав кадровых терок, захватить манеж, где окончательно вооружиться. Так говорили немногие, но и эти, видя угнетенное состояние массы, тоже замолчали, и воцарилась гробовая тишина.

В первую же ночь были посажены в карцере, которых в прошлую ночь солдаты не выдали, и все как будто вошло в свою колею. Одно только было подозрительно: слишком уж замолчали заключенные, -- видно было, что всякий думает сам про себя, и чувствовалось, что если теперь что-нибудь произойдет, так это уж будут не слова и разговоры. Не знаю, чувствовало ли это начальство, но только на первых порах оно изо всех сил

старалось не дать повода к возмущению. Из происшедших беспорядков не создали даже дела и только одного Серегина за представленный им юкорок посадили на 30 дней в карцер.

Впрочем, так продолжалось только дней десять, а потом в тактике начальства произошел переворот в сторону репрессий (подавления), и в несколько дней наше положение сделалось хуже, чем до брожения. С нами начали обращаться так грубо, как будто нарочно хотели нас вызвать на протест и, пользуясь нашей безоружностью, устроить хорошее «усмирение».

В это же время начали делать частые обыски и почти не позволяли говорить друг с другом. Пища опять ухудшилась до невозможности, а когда заключенные, не заявляя даже никакого протеста, не ели ее, начальство ехидно спрашивало: «Что, булочек захотели?» И солдаты молчали, думая свою думу про себя, голодные возвращаясь в казармы.

Жить при таком режиме стало почти невозможно, но батальон молчал, и было что-то зловещее в этом молчании. А начальство продолжало свое дело. Карцера были перепол-

нены, и нам стали говорить, что скоро отнимут кипяток, постели и будем сидеть весь день под замком. Многие не выдерживали такого режима, и число заболевающих вдвое увеличилось. Попал в их число и я. Как-то внезапно я почувствовал сильную головную боль и ломоту в костях. Меня отвели в лазарет и, так как у меня оказался сильный жар, оставили там на излечение. Болезнь у меня прошла в несколько дней, и я упомянул об этом, чтобы рассказать, как я встретился с Серегиним. Он досиживал в карцере уже последние дни, когда вдруг заболел, и, благодаря тому, что медицинский персонал был далеко не так плох, как остальное начальство, его перевели в лазарет.

Серегин был крестьянин лет 30-ти, большого роста, и во всей его фигуре было что-то доброе, искреннее и товарищеское. Первыми словами его, когда он вошел в лазарет, было: «Здравствуйте, братики! Ну, как вы здесь живете? У меня, братики мои, там такая темнота была, что и теперь еще ничего не вижу». И действительно, глаза его были красивые, а веки опухшие; настроение же у него было очень хорошее, и весельем своим он сейчас же заразил всю нашу палату. Пошли

шутки: «Ишь, они тебя за один окурок раз-
делали, а если бы ты им туда целый «осьмак»
всыпал? Наверное, повесили бы», говорили
ему. Он посмеялся и стал рассказывать, как
его посадили в карцер, как он готов был луч-
ше быть расстрелянным, чем подвергнуться
унизительному наказанию розгами, и как, на-
конец, в самый последний момент розги были
заменены тридцатидневным карцером.

— А ты Ермака песню знаешь? — обратил-
ся к нему все время молча сидевший солдат.

— Нет, не знаю, — ответил удивленный Се-
регин.

— А грамоте знаешь? — приставал солдат

— Знаю.

— Так вот что: возьми карандаш и бумагу.
Я тебе буду говорить слова, а ты записывай,
понял? Потом выучи эту песню наизусть и
всякий раз, когда ложишься спать и когда
встаешь, пой ее вместо молитвы, потому что
это она тебя от розог спасла.

— Верно, верно, братик! — горячо подхва-
тил Серегин. — Кабы вы не запели тогда
Ермака, ей богу выпороли бы...

На следующий день после этой встречи я
выписался из лазарета. Оказалось, что режим
за эти дни ухудшился еще более. Буквально

нельзя было сказать ни с кем слова, чтобы об этом не было доложено. Но, несмотря на это, настроение начало опять повышаться и особенно стало заметно после того, как газеты принесли известие о Севастополе, что там восстание и арестованы солдатами генералы. Генералы, арестованные солдатами, — это действовало неотразимо, и заключенные начали поднимать головы. Как-то один из заключенных громко сказал, что такую пищу собаки есть не будут. Это услышал «ротная шкура».

— Ты что сказал? Ну-ка, повтори! — обратился он с угрожающим видом к недовольному. Тот слово в слово повторил. Шкура побагровел.

— Эх, Бурова нет, он бы тебе всыпал сотнягу горяченьких, узнал бы ты, что такое пища!

— Буровых ваших теперь под арест сажают, — смело ответил солдат.

— Верно, верно! — подхватили другие, и шкура стушевался, проворчав: «я вам поговорю!»

Эта сценка происходила 17 ноября, но более определенных разговоров в тот день не было, и я был не мало удивлен, когда 18-го

утром мне пришли сказать, что вторая и пятая роты, помещавшиеся в одной казарме, всю ночь обсуждали план восстания и готовы начать хоть сейчас. Не успел я поговорить с товарищами своей роты, как нам был отдан приказ одеться и нас повели в манеж. Все иродово племя, то-есть офицеры, шкуры и терки, были в полном вооружении, и вид у них у всех был какой-то таинственный. Заметно было, что они к чему-то готовятся. В манеже (оказалось, что ружья находятся в соседней с манежем кладовой, а не в самом манеже, как мы думали) капитан Давыдов сказал нам приблизительно следующее:

— До моего сведения дошло, что сегодня у вас опять пошли разговоры относительно того, чтобы устроить бунт. Знайте, что, если что-нибудь будет, мы во что бы то ни стало усмирим, хотя бы для этого пришлось вас всех до одного перебить. У нас имеется человек 60 кадровых, револьверы наши новейшей системы, выпускают по 7 пуль в 30 секунд, и мы, не прибегая даже к помощи первой роты, вас всех перестреляем раньше, чем вы успеете овладеть ружьями.

Говорил он долго и просил, чтобы его рота не принимала участия в мятеже, если таковой

будет. До других рот ему дела нет, пусть они как хотят, но своей роте он от души желает добра и советует ей спокойно сидеть в казарме.

Вскоре после этой речи нас повели на обед. Лица солдат были возбуждены, глаза горели решимостью, и видно было, что они готовы на все. По игре случая, в этот день на обед был тот же суп с селедками, который нам подали в первый день прибытия в батальон. Но если в тот раз его хоть с трудом можно было есть, то на этот раз он оказался совсем по-моями, и мы вернулись в роту голодные.

Восстание

Минуты через две после подачи обеда, вдруг загудела в столовой самая злейшая отборная матерщина. Солдаты, опрокидывая столы, скамейки, разливая пищу, выходили на двор. Я бросился туда по направлению столовой и по дороге заметил, как из батальонной канцелярии выскочил Давыдов с револьвером в руке, и, подбежав к толпе, произвел в нее несколько выстрелов.

Кто-то упал. В толпе послышалось: «Нас убивают!» — и все, как пронзенные электри-

ческим током, с криком «ура» бросились к своим казармам. Цзын... цзын!.. — звенели разбиваемые стекла, и с диким стоном срывались двери со своих петель.

— Жги, ломай... в бога... в загробное рыдание!.. — кричали обезумевшие солдаты, ураганом носясь по казармам. Койки разлетались вдребезги, решетки вырывались из своих гнезд, когда казармы были окружены терками, открывшими по нам стрельбу. Они стреляли в окна, двери и казармы, засыпая пулями, как градом, и пули, ударяясь о стены и отбивая штукатурку, обсыпали ею уже не чувствующих солдат. Казалось, что мы все будем перебиты раньше, чем переступим порог казармы, и таким образом Давыдов будет прав.

Но вот в этом хаосе разрушения, среди начавшегося пожара, слышались возгласы: «Братва, к манежу! В ружье! Выходи, выходи!» — вопили десятки голосов, и доведенные до отчаяния, еще с большей злобой ругающиеся солдаты, как огненная лавина, устремились из казармы, опрокидывая по дороге в упор стрелявших терок и порой обезоруживая их. Видя, что в казарме нас не удержать, кадровые стянули все свои силы к ма-

нежу, который находился возле ворот, и от-туда начали стрелять залпами в напиравших солдат. Дело казалось проигранным. Наши ряды сильно редели под их залпами, с голыми руками было трудно что-нибудь сделать с этой хорошо вооруженной командой, но, видя, что мы, несмотря на расстрел, которому нас подвергают, продолжаем наступать, и боясь, что в конце-концов мы все-таки овладеем оружием, Александровский бросился в первую роту и, желая ее двинуть против нас, скомандовал: «Первая рота, в ружье! Усмирим бунтовщиков!»

— Кого, курвин брат, усмирим? Своих? Никогда! — ответили «исправляющиеся».

Получив такой ответ, Александровский поспешно выбежал, а солдаты, разобрав винтовки, с криком «вперед, на терок» бросились вон из казармы. Терки их встретили залпом.

Завязалась перестрелка, во время которой перевес был уже на стороне первой роты, так как терки стреляли из револьверов, а солдаты из винтовок. Воодушевленные присоединением исправляющихся, на которых совсем не надеялись, остальные роты, с криком «ура» и еще более энергичной матерщиной, броси-

лись вперед и под страшным огнем стали разносить манеж и кладовую, где находились ружья. Тем временем часть солдат, захватив из кузницы кувалды и молотки и куски железа, громила одну кладовую за другой, разыскивая патроны.

Трах! трах! — гремели залпы, быстро следуя один за другим, и стон разбиваемых дверей слился с глухим рычанием разъяренных солдат.

— Ишь, проклятая! — воскликнул бежавший мимо меня солдат и, быстро сбросив левый рукав своего мундира, носовым платком перевязал себе простреленную руку. Рана была, очевидно, из легких, так как рука продолжала действовать попрежнему.

— Братишки, свет виден! — смеясь говорил другой, показывая простреленную ладонь.

А терки, между тем, продолжали стрелять. Вот их залп ударился в стену над нашими головами, и на нас посыпалась штукатурка. Убили или нет? — мысленно спрашивал я себя, и, к удивлению своему, чувствовал, что на этот раз ни одна шальная пуля меня не задела. Страха никакого не было, и только казалось забавным, что стреляют так много,

а вот я до сих пор даже не ранен. Но вот прозвучал новый залп, в левую ногу мою над самую щиколоткой что-то ударилось, и почувствовалась тупая боль. Смотреть было некогда, да и не хотелось. Мы видели, что нас расстреливают, и у всех было одно желание: как можно скорее овладеть оружием и дать достойный отпор убивающим!

— Ура...а...а! Ура...а...а! — вдруг послышалось в толпе, громившей манеж, и в руках ее засверкало оружие. Кадровые дрогнули и, похватав своих убитых и раненых, бежали отстреливаясь со двора, при чем убили одного из своих, случайно от них отставшего.

— Патронов! Где боевые патроны? — вырывалось из сотни грудей, но кроме холостых ничего не находили. — Без боевых ни с места! — кричали солдаты, расстреливая холостые.

В третьей роте засело человек 50 солдат, не желавших принимать участия в восстании. Их принудили выйти и присоединиться, при чем упорствовавших убеждали ударами прикладов по спине.

Вот по двору, направляясь к воротам, бежит запасный солдат, с серой котомкой за

плечами. На вид ему уже под сорок. Большого роста, неуклюжий, с большим скуластым лицом, широкой рыжей бородой и серыми бессмысленными глазами, он выглядит удивительно нелепо. В деревне у него осталась большая семья. За что он попал в батальон, он и сам хорошо не знал, да и вообще он мало что знал. В три месяца он выучил с трудом 9 букв, и те часто путал. Знал он твердо только то, что у него где-то там далеко в деревне есть семья, которая без него голодает и ждет не дождется, когда вернется домой ее единственный кормилец. Где-то в разбитом цейхгаузе он нашел свою котомку, с которой пришел в батальон, и с нею он хочет теперь уйти обратно к своей семье.

— Брось, борода, котомку, бери ружье! — кричит ему один возмущенный его поведением солдат, и видя, что тот его не слушает, бьет его по спине прикладом. — Брось, говорю тебе! — раздраженно повторяет солдат, и штык его ружья готов проткнуть тупоумного запасного. Но, зная хорошо последнего, я подбежал на помощь и уговорил товарищей отпустить его. Будто спасая свое детище от грозящей ему опасности, бережно унес он свою котомку. Удалось ли ему до-

браться с нею до своей семьи? Кто знает! Думаю, что нет...

А патронов все еще не было, и мы начали приходить в отчаяние. Но вот послышался радостный возглас: «Боевые, боевые!» — и тотчас же было решено двинуться в город. — «А тюрьма?» раздалось в толпе, и все, стреляя в воздух, с криком «ура, да здравствует свобода!» бросились к тюрьме. Вмиг была обезоружена державшаяся еще там стража, и тяжелые двери одиночной тюрьмы при батальоне распахнулись перед узниками. С горящими от счастья глазами и бледными от волнения лицами, один за другим начали выходить из темноты сырого коридора на широкий двор, где восторженная толпа с радостными криками встречала своих товарищей, томившихся в ненавистных казематах. Каждому из освобожденных тотчас же подавалось ружье.

Вот, как-то подпрыгивая от радости, что настал наконец долгожданный момент, выскакивает заключенный, который по милости Давыдова 6 месяцев протомился в сыром полутемном карцере и был подвергнут телесному наказанию. Схватив поданное ему ружье и крепко сжимая его сильными руками, он не

своим голосом кричит, обращаясь к товарищам: «Где Давыдов? Дайте мне Давыдова!» и, глядя на его мощную фигуру, на налившиеся кровью глаза, казалось, что, если бы могли ему действительно подать капитана, застрелившего нескольких человек и бежавшего в самом начале восстания, он бы, наверное, повыдергал ему ноги и растерзал на клочки.

В противоположном конце двора еще громили батальонную канцелярию, уничтожая все находившиеся в ней бумаги; в нескольких местах еще поджигали незажженные казармы, но настроение уже становилось праздничным, утихала удушливая матерщина, мы сделались в батальоне полными хозяевами и, пока-что, чувствовали себя победителями. Выстрелы перемешивались с возгласами, не умолкая: «Да здравствует революция!» кричали одни. — «Долой начальство!» подхватывали другие и при этом обнимались, крепко целуя друг друга.

Вдруг кто-то сообщил, что в церкви спрятались офицеры. «А веди их сюда!» закричали солдаты, и через минуту из церкви были выведены два офицера. Один из них был командир второй роты капитан Гулевич,

в просторечии «два аршина с шапкой», говоривший постоянно солдатам, что он их зады издержает на мочалу; вторым был полуротный штабс-капитан Миткевич-Далецкий. Оба они с перепугу заболели медвежьей болезнью, — от них воняло, как из уборной, и с перепуга они не в состоянии были идти. «Братцы, не убивайте!» слабым голосом молили они солдат.

— Ступайте, ступайте, кто о вас руки пачкать будет? — говорили им солдаты, добавляя. — Эх, вы, сволочишки вонючие! Когда нам шкуры спускали, героями были, а чуть дело до своей шкуры дошло, сейчас по углам спрятались и в штаны напустили!

И, подведя их к калитке, ведущей в офицерский двор, но на этот раз оказавшейся закрытой, посадили их на доски, поднесли к стене, потом доски с ними подняли на штыки и с шутками перекинули за стену.

В город

Разгромив все, что можно было, батальон с музыкой и красным флагом, сделанным из наволочки какого-то терки, двинулся в город. Выйдя на улицу, мы заметили, что жи-

тели предместья все разбегаются, закрывая свои лавки и ставни домов. «Нас считают своими врагами!» мелькнуло у многих из нас в голове, и нам было страшно обидно. Встречая испуганных, мы останавливали их, пожимали им руки, уговаривали, чтобы они нас не пугались, так как мы такие же крестьяне и рабочие, как и они, и дурного им ничего не сделаем.

— Мы за вас, за народ! — кричали мы из рядов, и они успокаивались.

Во избежание грабежа со стороны худшей части батальона, несколько десятков человек цепью растянулись по сторонам, и, таким образом, желавшие грабить натыкались на штыки своих же солдат. Все время пути играла музыка и раздавались выстрелы вверх. Ноги поднимались сами собой, и все существо будто говорило: «Свобода! Свобода! Свобода!» И во имя этой свободы хотелось умереть, лишь бы не возвращаться в то ненавистное рабство, из которого мы только-что вышли с такими жертвами.

Вот мы проходим мимо огромного здания, где жило все наше начальство, десятки лет засекавшее насмерть молча терпевших солдат. Теперь оно, видя их пробуждение, все

разбежалось, покинув даже имущество на произвол судьбы. У многих было желание разбить этот дом, но нельзя было терять времени, так как мы хотели прийти в город и там занять какое-либо общественное здание, выработать окончательно свои требования, обратиться с воззванием к населению и послать депутатов в стоящий в городе пехотный полк с предложением присоединиться к нам.

Однако плану этому не удалось осуществиться. Когда мы начали приближаться к месту, отделявшему город от предместья, то издали еще заметили какую-то черную массу. Кто-то сказал, что это железнодорожные рабочие, и некоторым из нас даже казалось, что виднеется красное знамя. Но это было ошибкой: в действительности, по ту сторону моста стоял в полной боевой готовности пехотный полк и впереди него две сотни казаков...

Рассчитывая, что действовать оружием против нас не решатся, мы двинулись на мост, но нас тотчас же предупредили, что будут стрелять. Тогда, чтобы не вызвать бесполезного кровопролития, мы остановились, решив послать парламентаров (переговорщиков), с

целью узнать, каково настроение солдат, высланных против нас. Во время переговоров офицеры требовали, чтобы мы вернулись к своим пылающим казармам, выдав предварительно им свои ружья, угрожая в противном случае открыть огонь. В ответ на это, наши парламентареры вынули из своих карманов несколько десятков боевых патронов и, показав их офицерам, сказали, что мы будем отвечать тем же.

Через головы офицеров они обратились к солдатам с вопросом, будут ли они стрелять в своих. Пехотинцы промолчали, а казаки заявили, что будут расстреливать, «как собак».

Когда парламентареры вернулись и передали результаты переговоров, в рядах восставших начали придумывать планы, как проникнуть в город. Одни предлагали какой-то обходный путь; другие, более решительные, настаивали на том, чтобы идти «прямо» и пройти в город или погибнуть на месте. Случилось бы, конечно, последнее, так как нас было не более 600 человек, а против нас стоял целый полк и две сотни казаков. Был еще третий план. Он состоял в том, чтобы несколько человек взяли с собой револьверы, которые мы

отняли у кадровых терок, перешли мост, якобы для ведения переговоров, и неожиданно бросились бы на офицеров, которые стояли одной кучкой на мосту. Оставшись без начальства, солдаты перейдут на нашу сторону, — думали предлагавшие это план.

Но планы большинством отклонялись, и мы не знали, что предпринять. А между тем, наступал уже вечер, был порядочный мороз, дул ветер, и на мосту стоять было нестерпимо холодно; положение становилось натянутым, и с минуты на минуту можно было ожидать, что начнется братоубийственное сражение. Но вот с той стороны прискакал вестовой и передал, что приехал генерал, начальник местного гарнизона, и просит «прислать людей для переговоров». Батальон согласился, и в результате я с одним товарищем, пробывшим в батальоне около года и заслужившим уважение со стороны заключенных, были посланы для ведения переговоров.

Вместе с генералом по ту сторону был и наш батальонный начальник Александровский. Он храбрился и называл нас «господами депутатами», говорил, что знает нас, что ему уже о нас «говорили» давно и что мы затеяли «нехорошее дело». На вопрос гене-

рала, чего мы хотим, мы заявили желание пройти в город и, кроме того, предъявили целый ряд требований, среди которых были следующие: 1) полная и безусловная отмена телесных наказаний; 2) вежливое обращение; 3) полное освобождение всех запасных и тех, которые уже окончили действительную службу; 4) сокращение срока наполовину всем остальным; 5) право выписывать за свой счет все газеты и журналы. Генерал сказал, что удовлетворить наши требования не в его власти, настаивал на отдаче нами оружия, обещая в противном случае стрелять. Когда же мы заявили, что на выстрелы будем отвечать тем же, генерал вспылал гневом и закричал:

— Оставить их здесь!

Нас тотчас же провели вперед и... поставили между войсками. Видя, что нас арестовали, восставшие предположили, что по ним откроют огонь, и отошли в глубь предместья, считая опасным оставаться на таком открытом месте, как мост. В свою очередь, мы двое после того, как нас задержали, считали себя уже погибшими и думали, как с нами поступят: просто ли расстреляют или посадят в тюрьму и затем будут судить?

Но вот генерал распорядился двинуть на предместье отряд из сотни казаков и двух

рот солдат. Началось передвижение. Заметив, что происходит какое-то замешательство и что на нас совсем не смотрят, мы спокойно вышли на мост, перешли его и, видя, что никто нас не задерживает, пустились в поле. Думали было мы пробраться к своим, но привести этот план в исполнение нам тоже не удалось, так как кругом разъезжали казачьи патрули и, чтобы не попасть под их выстрелы, мы несколько раз должны были прятаться в кустах и оврагах, тем более, что винтовки свои оставили у товарищей, уходя для ведения переговоров.

Положение наше было критическое, и нам оставалось одно из двух: или отдаться в руки начальства, или же, добыв себе вольное платье, бежать. О том, чтобы отдаться начальству, против которого мы восстали, мы не хотели даже думать; следовательно нам оставалось только одно — бежать...

Приписка Авенира Урядова

В рукописи товарища Виктора Шпанец имеется рассказ о том, как он с товарищем своим бежал при помощи железнодорожных рабочих. Но гораздо интереснее досказать, что стало с восставшим батальоном.

Дело было так. В виду безвыходности положения, товарищам дисциплинарцам ничего не оставалось, как сдаться. Часть же вернулась в батальон и подожгла все здания. Пожар продолжался всю ночь.

Как только удалось загнать всех сдавшихся дисциплинарцев в Грибоедовские и Арнольдовские казармы, началась расправа. В Воронеж из Москвы прибыл временный военный суд, и с 7 февраля 1906 года начались судебные заседания, продолжавшиеся до 21 февраля.

Суд постановил: «за участие в явном восстании, совершенном сообща и с намерением воспрепятствовать начальству» 58 человек «лишить воинского звания и всех прав состояния, исключить из военной службы и сослать в каторжные работы» сроком до 12 лет, что в общей сложности составляло... 360 лет 5 месяцев и 2 недели.

Помимо упомянутых товарищей, еще было приговорено на разные сроки в арестантские роты 17 человек, а 2 октября 1907 года, под председательством генерала Адрианова, приговорили заключенного из вольноопределяющихся Николая Ивановича Пивоварова, как руководителя восстания, к 14 годам каторги

и Седаева, Холщанских и Иванова — в арестантские роты.

Убито дисциплинарцев было 8 человек и ранено 16.

От всего батальона осталась лишь груда кирпича да убежавшее во время восстания начальство.

Вся эта шатия думала крепкую думу, — как бы опять построить батальон. Они ходили по Воронежу целой стайей, охраняемые ротными шкурами. Когда шли полковник Александровский и подполковник Краснопевцев, их охранял и ныне здравствующий в слободе Придача ротный шкура Степан Новиков. Охранял Новиков этих особ от покушения революционеров, идя сзади, держа наготове наган и крича прохожим:

— Не подходи ближе пяти шагов, а то стрелять буду!

Что и случалось.

Стараниями Александровского и других, было построено из разбросанных стен старого здания новое здание Воронежского дисциплинарного батальона — по всем новинкам заграничной техники.

В выросшем батальоне царил все тот же Александровский и все так же, пожалуй, не-

ограниченно, как и вседержитель Буров, только... не столь продолжительно. Революция 1917 года смела Александровского вместе с его проклятым учреждением — этой дисциплинарной мясорубкой, молотившей солдатское мясо!

Теперь там военный городок. Слышится смех и песня:

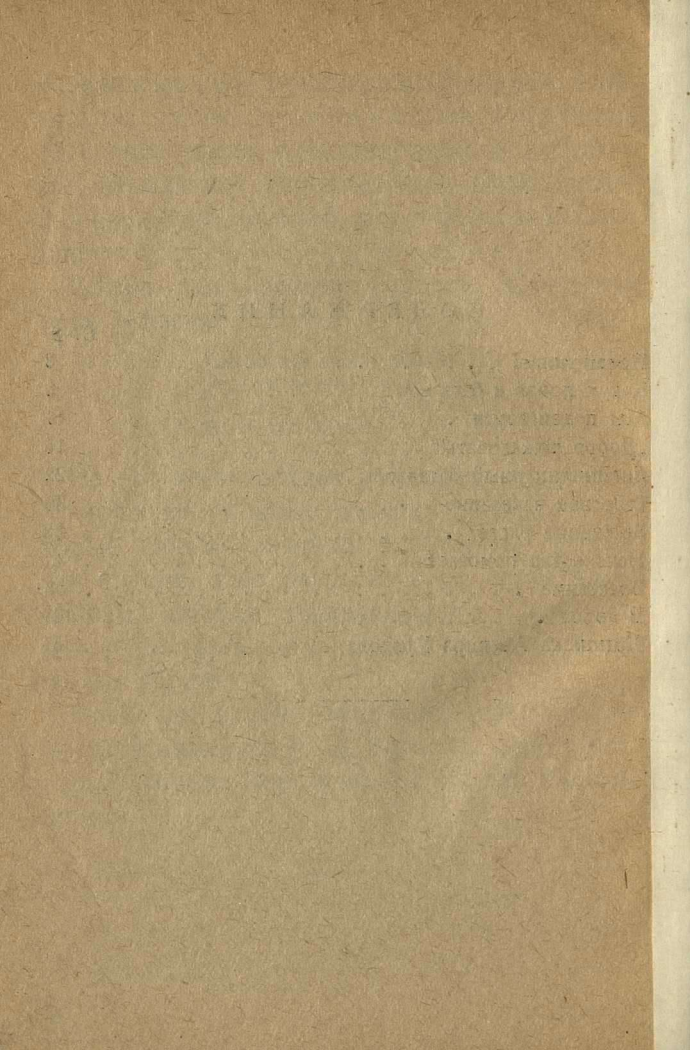
Смело мы в бой пойдем
За власть советов,—
Все, как один, умрем
В борьбе за это!

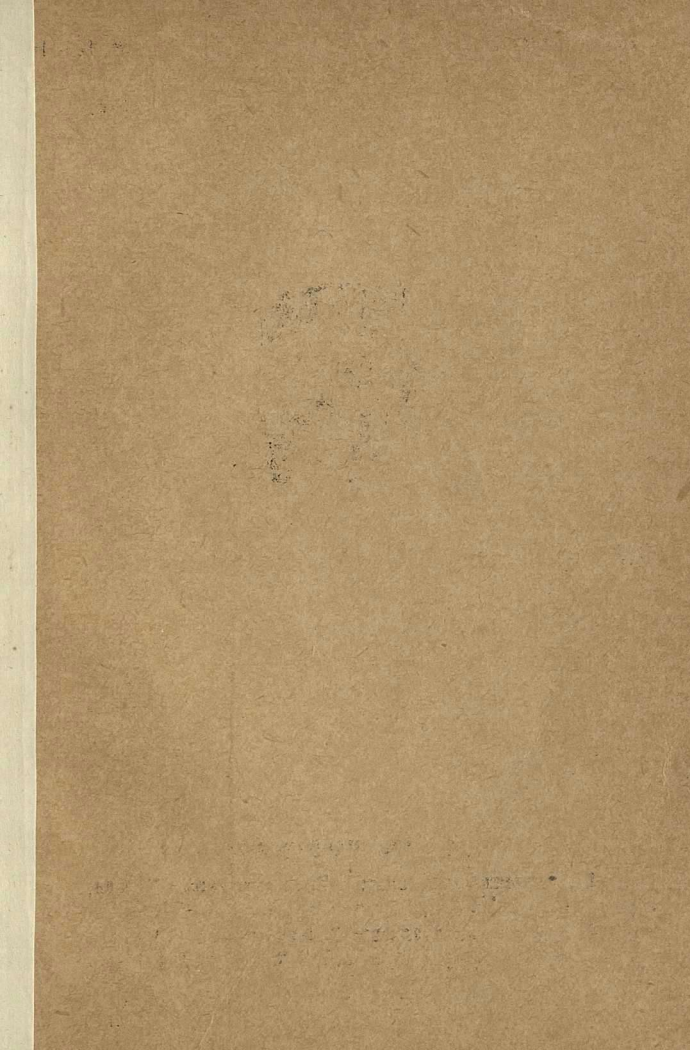
Но эта песня солдат революции ударяется в наружные оконные решетки прошлого, которые забыли во-время разрушить, глохнет там внутри, а не разносится по окрестности волнами прибоя, разрушающего тысячелетние устои кровавого прошлого. Нужно решетки убрать.

Новое же здание батальона строилось по проекту инженера Н. Л. Баркана, ныне строящего в городе Воронеже ледник для Рыбсиндиката.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	<i>Стр.</i>
Предисловие	3
Как я попал в батальон	5
Мы подвигаемся	11
„Добро пожаловать!“	15
Дисциплинарный батальон	22
Телесное наказание	30
Брожение растет	33
Начальство помогает	41
Восстание	53
В город	61
Приписка Авенира Урядова	67







ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

1. Правлению издательства Политкаторжан—Москва, Г. С. П.-10, Лопухинский пер., 5; тел. 3-64-73.
2. Магазины издательства Политкаторжан „МАЯК“—Москва-центр, Петровка, 7; тел. 4-18-12 и 3-63-20.



2020241074